

18+ ЖУРАВЛИНЫЙ КЛИН

Его предательство сожгло
жизни, настало время
вернуться на пепелище

Алексей Красоткин



Алексей Красоткин

Журавлиный клин

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73873246

ISBN 9785006986688

Аннотация

Успешный юрист Денис возвращается в умирающую деревню к деду, чтобы спасти старика, но оказывается, что спасти нужно не деда, а самого себя. Ерофей – последний житель и хранитель здешних болот, лесов и памяти о вымершей деревне. Между ними пропасть из невысказанных слов, непонимания и обиды за старое предательство. Когда чиновники решают стереть деревню с карты, Денис понимает: его последний шанс все исправить – остаться и бороться за справедливость. Это история о корнях, искуплении и любви.

Содержание

Часть I: Пепелище	5
Глава 1: Возвращение	8
Глава 2: Старик и журавли	13
Глава 3: Немая встреча	19
Глава 4: Язык ветра	25
Глава 5: Соседи	31
Глава 6: Первая рана	39
Часть II: Корни	46
Глава 7: Мать и сын	49
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Журавлиный клин

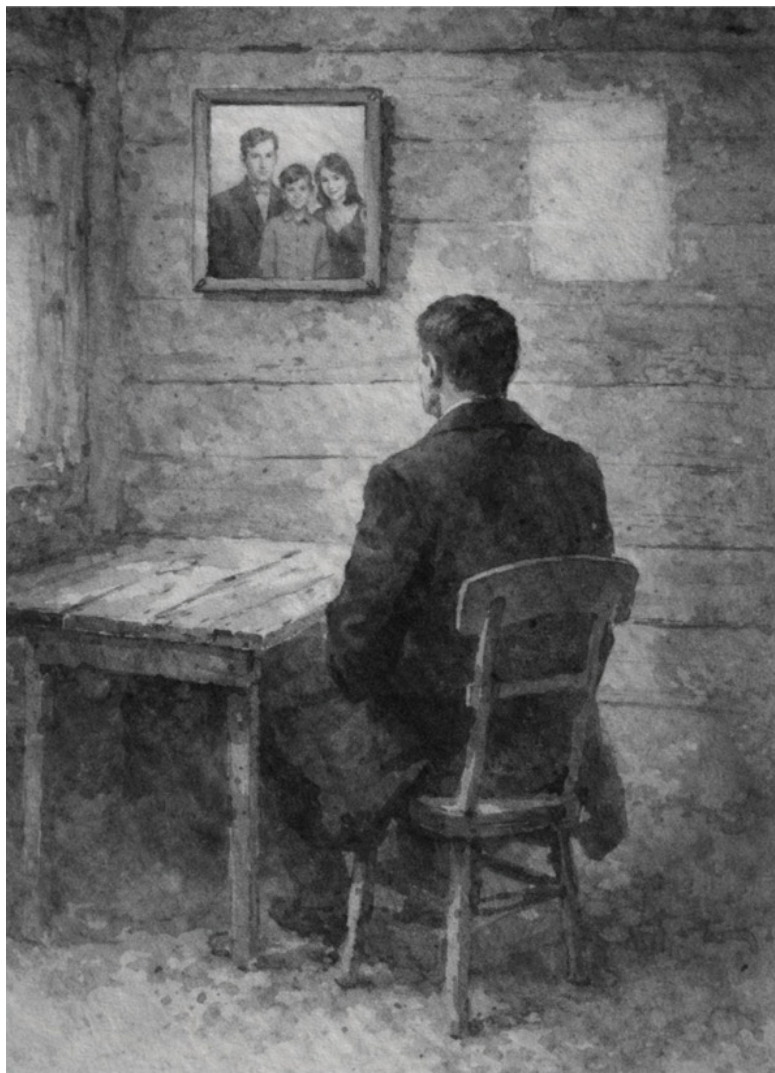
Алексей Красоткин

© Алексей Красоткин, 2026

ISBN 978-5-0069-8668-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть I: Пепелище



Глава 1: Возвращение

Дорога кончилась внезапно, как обрубленный канат. Асфальт, всё это время жалкий, разбитый, с заплатами из серого, неживого бетона, просто уперся в стену тайги и рассыпался в рыжую грязь. Денис на секунду замер, держась за руль «немца», который казался здесь космическим кораблем, приземлившимся на заброшенную планету. Он высунулся в окно. Ветра не было. Была только густая, мокрая тишина, давящая на уши после шести часов дорожного гула и тряски.

«Усть-Тайменка. 2 км», – говорил последний, покосившийся, исчерченный граффити знак. Знак лгал. Деревни уже не было. Было только её призрачное тело, прозрачный силуэт былой жизни.

Он заглушил двигатель. Тишина навалилась окончательно, став почти осязаемой. Она пахла. Пахла прелой хвоей, мокрой корой, кисловатой болотной сыростью и чем-то ещё – тлением, холодным пеплом былого. Денис сделал глубокий вдох, и этот запах ударил в память, как кулаком. Он узнавал его. Он ненавидел его двадцать лет и вдруг, сейчас, почувствовал, как что-то в грудной клетке сжимается, не от боли, а от чего-то надежно спрятанного в подвале его

души.

Он вышел из машины. Дорога, вернее, то, что от неё осталось, вела вниз, к реке, невидимой за ельником. По бокам стояли, как каменные надгробия, покинутые дома. Одни – просто срубы, почерневшие, с провалившимися крышами, из глазниц окон на него безразлично смотрела пустота. Другие были покрепче, но и они тоже умерли: стекла выбиты, палисадники поглощены крапивой и бурьяном в человеческий рост. Сквозь редкие деревья виднелся ржавый каркас бывшего клуба, на котором ещё держалась, криво, как стяг побеждённых, выцветающая звезда.

Никого. Ни звука. Ни дыма из труб. Ни собачьего лая. Казалось, даже птицы облетали это место стороной.

Денис поправил дорогие часы на запястье – нервный, бессмысленный жест. Он был здесь чужаком в своём кофейном пальто, в идеально чистой обуви, которая уже тонула в грязи. Он был призраком из другого мира, мира стекла, стали и бесконечного гула, который здесь, в этой тишине, казался наваждением.

Он пошёл вниз, туда, где должна была быть его улица, его дом. Ноги сами несли его, обходя знакомые, казалось бы, навеки врезавшиеся в подкорку ямы и кочки. Вот здесь, у кри-

вой берёзы, он сломал руку в десять лет. Вот этот овраг они с пацанами называли «Гранд-Каньоном». А вот и она – Проселочная. Вернее, то, что от неё осталось: две колеи в грязи меж бурьяна.

Сердце забилось чаще, глупо, по-детски. Он увидел крышу. Не ту, резную, коньком, которую помнил, а серый, облупленный шифер. Но это был тот дом. Дом Ерофея.

Он стоял чуть в стороне, на пригорке, последний жилой остров в море забвения. Дом казался вросшим в землю, придавленным небом, но всё ещё державшимся. Дым из трубы лениво вываливался серыми клубами. Жидкий, седой, он стелился по крыше и растворялся в низком небе. Знак жизни. Единственный.

Денис остановился у покосившейся калитки. Калитка была закрыта на проволоку. За ней – двор, где когда-то бродили куры, лежали поленницы аккуратных, как патроны, берёзовых чурбаков. Теперь двор был пуст, зарос лопухами, и среди них, как страж, стоял старый, почерневший колодезный сруб.

Он не решался войти. Он смотрел на окна. Они были мутными, запотевшими изнутри. В одном из них, в горнице, мелькнула тень. Не движение – просто изменение плотности

темноты за стеклом. Его увидели.

И тут сзади, с болотной стороны, донёлся звук. Пронзительный, тоскливый, разрывающий тишину на клочья. Крик журавля.

Денис вздрогнул и обернулся. Над дальним краем леса, над тем самым болотом, поднимался в серое небо клин. Нестройный, не идеальный треугольник из школьного учебника, а живой, рваный и с своими огрехами. Птицы, выстроившись в рваную угловатую линию, тяжело и мощно взмахивали крыльями, набирая высоту. Они улетали. Увозили с собой последнее деревенское лето, последнее тепло.

Он смотрел на них, и в горле встал ком. Это были те же крики. Те же. Они не изменились за два десятилетия. Они были такими же, какими звучали в его детстве – предвестниками долгой, равнодушной зимы и вечным укором.

Клин сделал круг над деревней, как бы прощаясь. Или как бы совершая последний обряд. Потом потянулся на юг и начал таять в дымке.

Он больше не слышал криков. Слышал только тишину, да биение собственной крови в висках. Он приехал. Он стоял у калитки. А журавли улетели.

Он нащупал в кармане ключи от машины, холодный, отполированный брелок. Твёрдый якорь своей реальной, важной, деловой жизни. Потом взглянул на свой телефон. Ни сети, ни сообщений. Полная тишина и здесь. Ни одной весточки от его реальности.

Он глубоко, со свистом вдохнул промозглый воздух, толкнул калитку. Проволока жалобно скрипнула и поддалась. Он сделал первый шаг на свою бывшую землю. Грязь чавкнула под подошвой, принимая его назад.

Глава 2: Старик и журавли

Ерофей знал, что они улетят сегодня. Он чувствовал это в костях – старые переломы ноют к непогоде, а к отлёту – зудят тоской. Он вышел на болото на рассвете, когда туман стелился по кочкам, как парное молоко, а мир был мягким и беззвучным.

Его ноги, обутые в охотничьи сапоги, сами знали дорогу. Каждую кочку, каждый прогнивший настил из жердей, каждый ухабистый мысок, где вода была чернее и глубже. Он шёл медленно, сгорбившись, опираясь на палку из кедра – гладкую, отполированную его шершавыми ладонями. В тряпичной сумке из старого покрывала он нёс свою нехитрую дань: горсть овса, прибереженного с осени про запас, и две морковки, уже вялых, но сладких.

Болото не спало. Оно дышало. Тихо булькало, выпуская пузыри газа. Шелестело сухим камышом, похожим на частокол. Ерофей прислушивался к этому дыханию, как врач слушает больного. Здесь всё было знакомо, всё было продолжением его самого. Кривая тропа – это ось болота, просевшая на северо-восток. Шум в левом ухе – это ручей, бегущий подо мхом. А тихая, постоянная боль под ребром – та самая пустота от отлета старых друзей, которую не заполнить ничем.

Он вышел на свою «точку» – небольшой участок тверди среди топи, отмеченный кривой, одинокой сосной. И замер.

Они были уже там. Шесть стерхов. Белые, как первый снег, с чёрными подпалинами на крыльях и алыми, как закат, отметинами на головах. Величественные, почти неземные. Последние из тех, кто хранит этот болотный двор. Они не испугались его. Старший, тот, у кого была едва заметная щербинка на клюве – старый знакомый, – сделал шаг вперёд, склонил голову набок, изучая.

– Здравствуй, Царь, – хрипло прошептал Ерофей. Он никогда не давал им имён вслух, но в мыслях звал этого Царем. Потому что держался он, как царь, даже когда его ранили. Ранен был давно, и Ерофей выходил величественную птицу. Картечь прошла навывлет, не задев ничего важного. Чудо. Или проклятие. С тех пор Царь не улетал со всеми. Он оставался до последнего, до самого льда, словно ждал чего-то. Или кого-то. А потом пропадал неизвестно куда до весны.

Ерофей рассыпал овес на промёрзлую кочку, положил рядом морковь, вот и все дары. Птицы приблизились, осторожно, грациозно переставляя длинные ноги. Не было жадности городских голубей. Было достоинство. Принятие дани, положенной им по праву.

– Ну что ж, – сказал Ерофей вслух, и голос его, не использованный с утра, прозвучал как скрип двери старого подвала. – Пора-пора. Морозец по ночам уже лютует. Река завтра, гляди, закаменеет. Путь у вас долгий.

Он смотрел, как они клюют, и глаза его, мутные от катаракты, видели не только птиц. Он видел тени. Вот Анна, его Аннушка, стоит на том берегу, у черёмухи, и машет платочком – так она всегда провожала его на промысел. Вот Мишка, сын, десятилетний, бежит по кочкам, кричит: «Тать, тать, глянь, утенок отстал!». А вот... а вот другой мальчик. С тёмными, как у Анны, глазами и упрямым подбородком Мишки. Он молчит. Он стоит вдалеке, у кромки леса, и смотрит на журавлей не с восторгом, а с какой-то холодной, недетской жадностью. Может хочет приручить. Или присвоить?

Ерофей моргнул, и видения растаяли. Остались только птицы, туман да щемящая пустота под ребром.

Царь, закончив с едой, поднял голову и издал короткий, гортанный звук. Не крик, а скорее команда. Остальные выпрямились, встрепенулись. По их белым телам прошла волна напряжения. Они чувствовали зов. Зов далёкого тепла, другого неба.

Один за другим они вставали на крыло. Тяжело, шумно,

с плеском воды и хлопанием могучих крыльев, взбивавших туман в густую пену. Ерофей смотрел, не моргая, сжав свою трость так, что суставы побелели. Сердце глухо и беспорядочно колотилось в груди, протестуя против этого расставания и законов природы.

Взлетели пятеро. Они сделали круг над болотом, набирая высоту, их крики, прощальные и печальные, прорезали утреннюю тишину, разбивая её вдребезги. Потом выстроились в тот самый клин, угловатый и неровный, и потянулись на юг.

На земле остался один. Царь.

Он посмотрел на Ерофея своими чёрными, нечитаемыми глазами. В них не было вопроса. Было знание. И, как показалось старику, – сожаление.

– Иди, – сипло сказал Ерофей, махнув рукавицей. – Не жди. Нет для тебя ничего больше.

Птица ещё секунду постояла, затем мощно оттолкнулась, сделала три шага по воде и взмыла в небо. Она не стала догонять клин. Она направилась своей дорогой, одинокая, как и он.

Ерофей смотрел, как белое пятно тает в серой дымке неба, пока глаза не начали слезиться от напряжения. Потом опустил голову.

Пустота под ребром разрослась, заполнила всё внутри. Теперь болото было совсем пустым. И тишина, которая опустилась вслед за улетевшими птицами, была уже не природной, а мёртвой. Та тишина, что бывает в доме после похорон.

Он тяжело повернулся и побрёл назад, к дому. Ноги волочились, цепляясь за кочки. Он знал, что сегодня приедет Денис. Знал от бабы Вали, у которой, как на грех, ещё работал тот самый, советский ещё, телефон-вертушка. «Твой-то внук из Москвы звонил, спрашивал, как дела. Говорит, приедет».

«Не внук, – хотелось сказать Ерофею. – Чужой человек». Но он промолчал.

Он шёл по тропинке, и с каждым шагом холод в костях усиливался. Не от мороза. От предчувствия. Приезд внука был таким же знаком, как отлёт журавлей. Концом какого-то большого круга. Последней страницей, которую нужно перелистнуть.

Он вышел из камышовых зарослей и увидел свой дом.

И чуть поодаль – чужую, блестящую машину цвета грозового неба. И фигуру в длинном пальто у самой калитки.

Ерофей остановился. Сжал палку. Сердце, только что бившееся тоскливо, вдруг застучало гневно и громко. Не от радости. От сопротивления. От нежелания впускать этот блестящий, чужой мир в свою жизнь, в свою крепость.

Он видел, как Денис обернулся на крик журавлей. Видел, как замер, глядя в небо. И Ерофей знал, что тот крик он услышал. Но понял ли?

Старик сгорбился ещё сильнее и медленно, как на плаху, пошёл навстречу. Навстречу прошлому, которое он так и не смог отпустить. И будущему, которого боялся больше, чем ледяной пустоты покинутого болота.

Глава 3: Немая встреча

Они стояли друг против друга, разделенные не тремя шагами, а целой пропастью из невысказанных слов и двадцати лет молчания. Ерофей оперся на палку, переводя дыхание. Денис невольно выпрямил спину, приняв позу, в которой он обычно вел переговоры, – собранную, с легким вызовом.

– Дед, – сказал Денис. Звук его собственного голоса в этой давящей тишине показался ему фальшивым и громким.

Ерофей кивнул. Один раз. Сухо, как скрипит сухая ветка. Его лицо, изрезанное морщинами, подобным трещинам на высохшей глине, не выражало ничего. Только глаза, маленькие, глубоко сидящие под нависшими бровями, изучали внука с холодной, почти животной внимательностью. Он смотрел на пальто, на блестящие пуговицы, на аккуратную стрижку, на неприкрытую шею – «простудишься, дурак», – мелькнуло у Дениса в голове детское воспоминание.

– Заходи, коль приехал, – процедил Ерофей и, не дожидаясь ответа, толкнул калитку и заковылял к дому.

Денис последовал за ним, чувствуя себя незванным гостем. На крыльце, скривившемся набок, его встретил запах – иной,

чем на улице. Запах старого дерева, печного дыма, сушеных трав, мышей и чего-то кислого – невымытой посуды или немощи. Запах бедности и старости. Он ударил по носу, буквально физически оттолкнув назад.

Из сеней Ерофей прошел в горницу. Денис застыл на пороге.

Комната была такой же и не такой. Та же русская печь, та же бревенчатая стена, те же половицы, скрипевшие под ногами. Но жизненного уюта, который он смутно помнил, не было. Была запущенность. На окнах – грязноватая марля вместо занавесок. На столе – одна чугунная сковорода с засохшими остатками каши, жестяная кружка, краюха черного хлеба под тряпицей. На стене, где когда-то висели ковер с оленями и фотографии в рамках, теперь была только одна – та самая, пожелтевшая. Молодой Ерофей, женщина с мягким взглядом (бабка Анна) и мальчик (отец). Рядом с ней – огромная, зияющая пустота, след от другой, сорванной рамы. Место от его детской фотографии. Денис почувствовал, как по спине пробежал холодок.

– Садись, – бросил Ерофей, скидывая на гвоздь свой заношенный пиджак. Сам он опустился на лавку у печи, согнувшись, уставившись в пустую топку, остатки полешек уже почти дотлели рассыпались в седой пепел.

Денис осторожно, чтобы не испачкать пальто, присел на краешек стула у стола. Он не знал, что сказать. «Как дела?» – звучало бы как издевка. «Как здоровье?» – было написано на лице деда большими буквами: плохо.

– Я... получил твою выписку из поликлиники, – начал он деловым тоном, который обычно работал безотказно. – Через знакомых. Там написано... нужно обследование. Серьезное. И уход. Здесь тебе этого не обеспечить. Я хочу...

– Не надо, – перебил его Ерофей, не глядя. Голос был плоским, как доска. – Ничего не надо. Пожил. Хватит с меня, вдоволь землю потоптал.

– Не говори так! – голос Дениса сорвался, в нем неожиданно прозвучала та самая мальчишеская обида. – Я могу организовать хорошую клинику в Новосибирске. Или... или перевезти тебя в Москву, ко мне. Там...

Ерофей медленно поднял на него глаза. Взгляд был тяжелым, как свинец.

– В Москву? – он хрипло усмехнулся, и усмешка эта была страшнее крика. – Чтобы сдохнуть в коробке под натяжным потолком? Глядя на стену? Нет уж. Здесь мне и помирать.

Денис сжал кулаки под столом. Он приехал спасать, а его встречали как врага, как назойливого коммивояжера.

– Посмотри вокруг! – его голос набрал громкости, зазвучал в бедной горнице неуместно пафосно. – Здесь уже ничего нет! Ни деревни, ни людей! Одни развалины! Ты держишься за что? За это болото? За эти... этх журавлей? Это же абсурд!

Ерофей замер. Тишина в горнице стала густой, колючей. Он выпрямился на лавке, и Денис, к своему удивлению, увидел не дряхлого старика, а того самого сурового, несгибаемого деда, которого боялся в детстве.

– Абсурд, – повторил Ерофей тихо, смакуя слово, как незнакомую, терпкую ягоду. – Да. Для тебя – абсурд. Ты продал свою долю в этом «абсурде» давно. За свои стёкла да сталь. И выгодно так продал. Забыл?

Денис почувствовал, как кровь ударила в лицо. Это был удар ниже пояса. Чистый, беспримесный яд.

– Я был ребенком! Мать уговорила, ей деньги были нужны! Наш дом, наш участок... она продала всё это Лебедевым из райцентра, когда мы уезжали!

– И ты подписал, – отрезал Ерофей. – Восемнадцать лет тебе было. Не ребенок. Своей рукой подмахнул. За тридцать серебряников. Так что нечего тут... спасать. Чужих не спасают. И свою землю не предают.

Денис вскочил. Стул с грохотом упал назад.

– А ты?! – выкрикнул он, и голос его дрогнул от давней, детской ярости. – Ты всю жизнь цеплялся за эту землю, как репей за штаны! И что? Где отец? Под лесиной сгнил! Где мать? В городе с горя запыла! А ты сидишь тут, в своём святом упрямстве, и ждешь, когда всё окончательно развалится! И сам ты разваливаешься, как все тут вокруг разваливается! Ты не хранитель, дед! Ты... ты сторож на кладбище!

Он выпалил это и замер, осознав тяжесть сказанного. Тишина в горнице навалилась с новой неистовой силой. Ерофей не двинулся. Только его руки, лежавшие на коленях, сжались так, что побелели костяшки.

Он молчал так долго, что Денису стало физически невыносимо. Потом Ерофей медленно, с трудом поднялся с лавки. Он казался вдруг меньше, сломленным.

– Вон, – сказал он тихо, но так, что каждый звук было как гвоздь, вбитый в крышку гроба. – Уезжай. Обратнo. В свою... нормальную жизнь. Мне от тебя ничего не нужно.

Он повернулся и, не глядя на внука, вышел в сени. Хлопнула дверь.

Денис стоял посреди чужой, враждебной горницы, дро-

жа от нелепой, бессильной злости. Он смотрел на свое отражение в темном стекле окна – размытое, искаженное лицо успешного человека, которое только что разбилось о гранитную плиту прошлого.

Он поднял стул, поставил его на место. Механически, как робот. Потом вышел на улицу. Морозный воздух обжег легкие. Он сел в машину, захлопнул дверь, отгородившись от этого мира двойным стеклопакетом, кожей «наппа» и вставками из натурального дерева. Хотел хлопнуть дверью по-детски, громко, чтобы эхом отозвалось в тишине и долетело до ушей деда. Но доводчик сработал так мягко, почти бесшумно, с сухим и равнодушным щелчком. Не вышло даже этого – дать знать о своём уходе.

Руки тряслись. Он не заводил двигатель, просто сидел, уставившись в спину дома, где за закрытой дверью умирал в одиночестве последний хранитель его детства.

А на небе, чистом и ледяном после утреннего тумана, не было ни одного облака. И ни одного журавля. Только гладкая пустота.

Глава 4: Язык ветра

Это было не воспоминание. Это был взрыв, выброшенный из глубин памяти тем самым запахом и той сокрушительной тишиной, что осталась в машине после ссоры. Денис закрыл глаза, прижал ладони к вискам, и мир семилетнего мальчишки нахлынул, заливая всё, как половодье.

Жара стояла июльская, липкая, звонкая от стрекоз. Он, Дёнька, маленький, тощий, в штанах, закатанных выше колен, стоял на краю болота и боялся. Недалеко от избушки, на безопасной тверди, но всё равно – болото. Оно шевелилось, дышало, пускало пузыри. Баба Валя говорила, что там водяной живёт и утащит, если будешь плохо кашу есть.

– Стой смирно, – сказал дед. Он стоял рядом, огромный, как ветвистый дуб. Волосы растрепаны, рукава рубахи засученны. Руки у него были покрытые жилами, сильные руки. – Дыши. Чувствуешь?

Дёнька затаил дыхание, высунув язык от напряжения. Чувствовал он только страх и комаров.

– Ничего не чувствую, – прошептал он.

– Небоись. Ветер дует. От леса дует. Видишь макушки сосен? Гнутся. Значит, ветер с севера. Несильный, ласковый. Он несёт запах хвои, смолы. Чувешь?

Денис всерьёз принялся. И правда – горьковатый, чистый запах, непохожий на болотную сырость.

– Чую!

– А теперь повернись. Слушай, что тебе вода говорит.

Дёнька повернулся лицом к чёрной, затянутой ряской воде. Бульк... бульк... тишина... бульк.

– Она... булькает.

– Правильно. Булькает не просто так. Там, где бульк громкий и с пузырьём – глубже, трясина. Где тихо и ряска неподвижная – кочка, можно наступить. Вода – она как язык. Надо только выучить буквы.

Дед взял его за руку. Ладонь была шершавой, тёплой и надёжной.

– И птицы. Слышишь?

Дёнька услышал. Не просто птичий гомон, а отдельные голоса. Резкий, тревожный крик какой-то пичуги. Спокойное, размеренное «кулик-кулик».

– Эта – беспокоится, видит нас. А та – своё дело делает, не боится. Значит, вокруг нет лиха. Ни волка, ни чужого че-

ловека.

Они пошли по едва заметной тропинке, и дед показывал ему следы. Вот это – заяц, скакал тут недавно. А вот эти, покрупнее, с отпечатками когтей – лиса. Она тут ночью мышей ловила.

– Смотри, – дед присел у куста багульника. На мху лежало перо. Длинное, изогнутое, серое с чёрным. – Журавлиное. Выпало в драке или когда чистился. Перо – это письмо. Оставил тебе. Читай: был тут журавль, здоровый, сильный. Улетел целым.

Дёнька взял перо, оно было невесомым и прочным. Волшебным.

– И всё тут... разговаривает? – с благоговением спросил он.

– Всё, – твердо сказал дед. – Лес, вода, ветер, звери. Только не криком, а шёпотом. Надо уметь слушать шёпот. Тот, кто слышит шёпот земли – никогда не пропадёт. Она всегда подскажет дорогу, накормит, предупредит об опасности.

Они вышли на полянку, и Дёнька увидел Их. Двух журавлей. Они важно вышагивали по воде, выискивая что-то клювами. Солнце играло на их бело-серых перьях. Они были прекрасны и нереальны, как существа из древней сказки.

– Это стерхи, – тихо сказал дед, и в его голосе прозвучала

такая нежность, какой Дёнька никогда не слышал. – Души прадедов, говорят старики. Они возвращаются, чтобы посмотреть, как мы живём. А каждой весной приносят на крыльях новую жизнь.

Один журавль поднял голову, посмотрел в их сторону. Чёрный, блестящий глаз будто заглянул прямо в душу Дёньки. Мальчик не шелохнулся, стоял замороженный.

– Он нас видит?

– Видит. И знает, что мы свои.

– А можно с ними... дружить?

– Не дружить, – поправил дед. – Уважать. Они – хозяева болота. Мы – гости. Гости ведут себя тихо и не мусорят.

Они просидели в зарослях ещё долго, пока журавли не ушли в камыши. Дёнька всё сжимал в руке то самое перо. Он чувствовал себя посвящённым в великую тайну. Он понимал язык ветра! Он читал следы! Он видел души прадедов!

Возвращались домой в сумерках. Небо догорало, отражаясь в чёрной воде. Дёнька шёл, крепко держа деда за палец.

– Дед, а я научусь всему? Всему-всему?

– Научишься, – сказал дед, и его тяжёлая ладонь легла на мальчишескую стриженую голову. – Ты же мой наследник. Хранитель. Всё тебе передам.

В тот вечер, засыпая на печи под шершавым бабкиным одеялом, Дёнька прижимал журавлиное перо к щеке. Он слушал. За стеной поскрипывали половицы – это дед ходил. За окном шумел лес – это ветер рассказывал ночные истории. Где-то далеко, на болоте, прокричал стерх – это дух-хранитель проверял, всё ли в порядке.

Он был частью этого живого, говорящего мира. Он был хранителем. Он был счастлив.

Резкий стук в стекло заставил Дениса вздрогнуть и открыть глаза. Запотевшее окно машины. За ним – сумеречное небо и мрачный силуэт дедовой избы.

От воспоминания остался физический вкус – вкус детского счастья и абсолютной защищённости. И тут же, как удар током, пришло осознание настоящего: холодная машина, позор бегства, слова, сказанные в горнице, и лицо деда, с которого словно стёрли последние следы той самой нежности.

Он больше не слышал шёпота земли. Он оглох. Он продал своё право слушать за те самые «тридцать серебряников».

Он сжал руль, уткнувшись в него лбом. Перо, то самое, он, наверное, потерял при переезде в город. Или выбросил, стыдясь «деревенской дряни».

Теперь он сидел здесь, в своей дорогой, такой нелепой машине, и единственный звук, который он слышал, был гул собственной крови в ушах и тихий, неуместный шелест его дорогих часов, отсчитывавших время, которое он уже никогда не вернёт.

Глава 5: Соседи

Утро пришло серое и нерешительное. Морозец сковал грязь в колючую, неровную корку. Денис вышел из машины, где провёл беспокойную ночь в тесноте и холоде, спасаясь в кресле водителя, укрывшись собственным пальто. Машины не заводил, ему казалось, что это осквернит окружающую тишину и потревожит духов. В дом к деду идти не посмел. Теперь он стоял, похрустывая заиндевевшей травой под ногами, и смотрел на Усть-Тайменку при дневном свете.

Днём она выглядела ещё печальнее. Без теней и тумана, скрадывающих развалины, запустение предстало во всей своей наготе. Крыши, просевшие внутрь. Поваленные заборы. Зброшенный колодец с оборванным ведром, застывшим в бездонной его пасти. Он пошёл по той самой Проселочной, и ноги сами понесли его мимо призраков его детства. Вот дом Гавриловых, где жил его друг Стёпа. Окна заколочены фанерой, на крыльце – гора пустых бутылок. Школа, одноэтажный барак, где Марья Петровна ставила ему птёрки по чтению. Теперь там не осталось ничего, только чёрные глазницы, а на покосившейся двери кто-то намалевал короткое слово.

Он дошёл до конца улицы, где она упиралась в поле, за-

росшее бурьяном и молодыми ёлочками. И тут увидел дым. Не из трубы Ерофея, а сбоку, из-за развалин бывшей конюшни. Тонкая, жидкая струйка, едва различимая на фоне неба.

Он свернул с дороги, обходя заросли крапивы, и вышел к небольшому, относительно целому дому. Дом был низенький, почерневший, но с целыми стеклами, занавешенными ситцем. Во дворе, несмотря на мороз, стояли два улья, укрытые старыми ватниками, и висела пустая, но аккуратно сколоченная клетка для кроликов. Жизнь. Пусть еле теплящаяся, но жизнь.

Он постучал в дверь, обитую потрескавшимся дерматином. Из-за неё донёлся шаркающий шаг, щелчок засова.
– Кто там? – голос старушечий, но крепкий, без дрожи.

Дверь приоткрылась на цепочку. В щели показалось морщинистое лицо с острыми, как у птицы, чертами.
– Я... Денис. Ерофея внук, – сказал он, чувствуя неловкость.

Цепочку сняли. Дверь распахнулась, выпустив волну жара от печки и густой запах сушёной мяты, хлеба и чего-то лекарственного.

– Заходи, заходи, чего на пороге торчишь, – засуетилась баба Валя. Она была маленькая, согбенная, но двигалась рез-

во. – Сперва думала, ты вчера укатил. Слышала, как поругались. Стены тут тонкие, да тишина эта еще – всё слышно.

Денис вошёл в крохотную, но удивительно уютную горницу. Всё блестело чистотой, на столе – вышитая скатерть, на полке – стопка книг в одинаковых переплётках, и несколько фотографий в рамках. На одной из них – молодой, суровый мужчина в военной форме и она, Валя, с длинной косой и смеющимися глазами.

– Садись, гостюшка. Чаю? Самоварчик у меня хоть и электрический, а дух держит.

Денис молча кивнул, снял пальто, повесил на спинку стула. Он чувствовал себя здесь почти так же неловко, как и у деда, но по другой причине. Здесь была жизнь, обустроенная вопреки всему. И это заставляло его собственную блестящую пустоту ощущаться особенно остро.

Баба Валя налила чаю в толстые фарфоровые чашки с позолотой. Пахло иван-чаем.

– Ну как он? – спросила она, присаживаясь напротив и пристально глядя на него.

– Кто? Дед? – Денис поморщился. – Упрямый. Как... как всегда.

– А ты ждал, что он тебе ковровую дорожку постелет? – старуха фыркнула. – Ты не сынок его пропавший, ты внук

уехавший. Это разница.

Она говорила прямо, без церемоний, и в этой прямооте была какая-то странная правда.

– Я хотел помочь. Увезти. В клинику.

– Кли-ни-ку, – растянула она, делая ударение на «и», как на чём-то диковинном. – Он там сдохнет за день. От тоски. Он тут, как дерево. Корни его тут, в этой земле, в болоте этом. Вырвешь с корнем – завянет.

– Но здесь же ничего нет! – не удержался Денис. – Вы... вы одна, наверное, остались?

– Одна, – подтвердила Валя, отхлебнув чаю. – Да я и не из Тайменских. Я с севера, за мужем сюда приехала. Все разъехались, кто помер. А я... куда мне? Дом тут, могила мужа на бугорке. Я тут и доживу. А Ерофей – он последний коренной. Последний, кто помнит, какая тут жизнь кипела. Лет сто назад, да. Когда и колхоз был, и молокозавод, и свадьбы играли так, что на три деревни слышно было. Он – как та летопись, которую уже никто не читает, но выбросить жалко.

Она помолчала, глядя в своё чайное отражение.

– Он за тебя, знаешь ли, жизнь положил, – сказала она вдруг тихо, как будто опасаясь, что стены и правда услышат.

Денис замер с чашкой в руке.

– Что?

– А ты не знал, – не спросила, а констатировала она. – Ну, конечно. Он ж не хвастун. После того как вы с мамкой укатили... года через два, наверное... приехали сюда люди. Не наши. На джипах, в камуфляже. Охотники. За стерхами приехали. Красная книга, птица редкая, а у каких-то богачей на чучело или в частный зверинец охота всегда есть. Денег много сулили. Ерофей их послал куда подальше. Дверью им чуть носы не прищемил. Ну, они, видать, обозлились. Или просто по-хамски жить привыкли. Ночью подожгли.

Денис почувствовал, как у него похолодели пальцы.

– Подожгли? Этот дом?

– Этот самый. Благо, ветра не было, а то бы всё село выгорело. Я проснулась от воя. Это Чонгар выл, пёс его. Выбежала – а у Ерофея вовсю полыхает. Чонгар в сенях бьётся, не выбегает, не может. Ерофей обратно кинулся, за псом. Еле выволок его, весь уже пламенем опалённый. А тут и мы, кто оставался, подспели, водой из колодца заливать давай. Потушили. Сени погорели сильно, крыше досталось тоже хорошо.

Денис слушал, не дыша. В голове мелькали картинки: пламя, бьющее в ночное небо, вой собаки, силуэт старика в огненном зареве.

– И что... эти люди? Их нашли?

Баба Валя горько усмехнулась.

– Какое! Следы от колёс – и те дождем размыло, осень начиналась уже. Милиция из райцентра приезжала, бумажку какую-то составила, да и уехала. Сказали: «Сам виноват, с подозрительными связываться не надо». А Ерофей... он после того пожара будто в себя пришёл. Не сломался. Наоборот. Отстроил, что сгорело, сам, почти без помощи. И никуда не уехал. Только замкнулся ещё больше. И знаешь, что самое обидное?

Она посмотрела на Дениса так, что ему захотелось провалиться сквозь землю.

– Он тебе ни строчки не написал. Ни звонка. Я ему говорю: «Позови Дениску, помощь нужна!». А он: «Не надо. Пусть живёт своей жизнью. А я... я свою уже отжил. Не буду ему обузой»».

В горнице стало тихо. Только тикали большие настенные часы с маятником. Тик-так. Тик-так. Отмеряли время, которое Денис провёл в своём успешном мире, пока его дед оборонял последний рубеж в одиночку.

«Не для чего больше», – вспомнились ему слова деда на болоте, сказанные, как он думал, журавлям. Теперь он понимал – они были сказаны ему.

– Он тебя не простил, – тихо сказала баба Валя, но уже без упрёка, с какой-то бесконечной усталостью. – Не за отъезд. А за то, что ты продал свою часть. Землю, дом. Для него это... это как отречение. А пожар этот... он его принял как расплату. За тебя. Мол, внук согрешил, а деду и отвечать.

Денис встал. Ему было невыносимо сидеть. Он подошёл к окну, глядя на унылый пейзаж. Стыд был таким едким, таким физическим, что хотелось выть. Он приехал с барской милостью – спасать. А оказалось, его уже давно спасли. Ценой почти что жизни. И даже не сказали ему об этом, чтобы не обременять.

– Что же мне теперь делать? – спросил он, не оборачиваясь, и в голосе его прозвучала беспомощность, которой не было даже в семь лет на том болоте.

– А кто ж его знает, внучок, – вздохнула баба Валя. – Может, просто побыть. Не делом заниматься, а просто... побыть. Может, он тебе ещё что скажет. А может, и нет. Он скоро уйдёт. Чует это. И клин последний уже улетел. Знак это.

Денис кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Он взял своё пальто, накинул его.

– Спасибо за чай, – пробормотал он.

– Заходи, коли что, – проводила его Валя. – Я всегда тут.

Он вышел на холодный воздух, и он показался ему ещё ледянее, чем утром. Он шёл обратно к дедову дому, и теперь смотрел на него другими глазами. Не на упрямый бастион, а на израненную крепость, которая выстояла в одиночку. И в которой ему теперь не было места.

Глава 6: Первая рана

В дедовой избе не топили. Точнее, печь была холодной, лишь в плите тлели угли, дающие больше призрачного света, чем тепла. Денис вошел без стука. Ерофей сидел на той же лавке у печи, но теперь не смотрел в пустую топку, а разглядывал что-то в руках. Небольшой, темный, кожаный футляр.

Они не поздоровались. Денис снял пальто, повесил на гвоздь и сел на тот же стул у стола. Он чувствовал себя теперь не завоевателем, а скорее приговоренным, явившимся на объявление вердикта. Знание, полученное от бабы Вали, висело между ними тяжёлым, невидимым занавесом.

– Я побывал у бабы Вали, – сказал он наконец, просто чтобы разорвать тишину.

Ерофей кивнул, не отрывая глаз от футляра.

– Она – душа живая. Ей бы в городе, у детей. Не хочет. Говорит, воздух тут лечит.

Он говорил спокойно, будто вчерашней ссоры не было. И это было еще страшнее.

– Она рассказала мне про пожар, – выпалил Денис, не в силах выдержать эту игру.

Руки Ерофея, державшие футляр, замерли. Только на миг.

– Много она знает, – произнёс он нейтрально. – Старая уже. Путаает.

– Не путает! – голос Дениса дрогнул. – Почему ты мне ничего не сказал?

Ерофей медленно поднял на него глаза. В них не было гнева. Была только усталость.

– Что сказать? Что приехали подонки? Что дом горел? Что пёс чуть не сгорел с ним вместе? Что я старый дурак, который не смог защитить своё? Какая тебе разница? Ты свой выбор сделал. У тебя своя жизнь. Незачем тебя тревожить.

Каждое слово било точнее вчерашних обвинений. Потому что было лишено эмоции. Это был просто отчёт. Констатация факта их разделённости.

– Я бы помог! – выкрикнул Денис, чувствуя, как лицо горит.

– Помог? – Ерофей отложил футляр на лавку, выпрямился. – Как? Приехал бы на выходные? Скинул бы денег? Нанял бы рабочих? А потом укатил обратно, к своим делам? Это не помощь, Денис. Это подачка. Мне подачки не нужны были.

Он встал, подошёл к стене с единственной фотографией. Ткнул пальцем в лицо мальчика – своего сына, Михаила.

– Вот он помогал. Руками. День за днём. Пока дерево его не придавило. А ты... ты от своей земли, от своего дома отказался. На бумаге. Чёрным по белому. Так какая у нас может быть общая беда? Нет её у нас с тобой.

Денис молчал. Все аргументы, все доводы разумного, взрослого человека рассыпались в прах перед этой простой, жестокой правдой. Он был не просто уехавшим. Он был отрекшимся. И никакой пожар, никакая болезнь деда не могли этого отменить.

Ерофей вернулся к полке, достал папку, открыл ее. Оттуда он достал старую, потёртую на краях фотографию. Протянул её Денису через стол.

– На. Можешь выбросить, коли не надо.

Денис взял. На снимке, пожелтевшем и потрескавшемся, был он сам. Лет девяти. Стоит на фоне этого самого дома, но дом – целый, с резными наличниками. На лице – широкая улыбка. В руках он держит... журавлиное перо. То самое.

И надпись на обороте, выведенная чёрными, теперь выцветшими чернилами: «Дёнька. Хранитель. 1998 г.».

Что-то в груди у Дениса сжалось, затрещало, будто лёд

на реке под тяжестью. Он не помнил, чтобы эту фотографию делали. Но он помнил тот день. День, когда дед назвал его «хранителем». И он верил в это всей душой.

– Я не выброшу, – хрипло сказал он.

Ерофей махнул рукой, будто это не имело значения. Он снова сел, уставший.

– Зачем приехал-то, по-настоящему? Не для больницы. Ты же не дурак. Видишь – конец близок. И деревне, и мне. Зачем все это?

Денис долго смотрел на фотографию в своих, теперь таких чужих, руках.

– Не знаю, – честно признался он. – Может, хотел доказать... самому себе. Что я не совсем... что я могу что-то исправить.

– Не исправить, – тихо сказал Ерофей. – Закрывать. Как папку с делами. Поставить на полку и забыть. Удобно.

Он замолчал, и в тишине стало слышно, как за окном завывает поднимающийся ветер. Предвестник метели.

– А я не хочу забывать, – вдруг вырвалось у Дениса. Он сам удивился своим словам.

– Поздно, – был ответ. Спокойный, как приговор. – Ты уже забыл. Ты забыл язык ветра. Забыл следы на мху. За-

был, как пахнет болото перед грозой. Тебе остались картины. Как эта вот.

Он показал подбородком на фотографию. И впервые в его голосе прозвучало нечто, кроме усталости. Скорбь. Тихая, беззвучная, как первый снег, падающий на могилу.

– Уезжай, Денис. Езжай в свою Москву. Живи. Забудь про эту рухлядь. Про этот холод. Про меня. Тебе здесь делать нечего. Ты уже отзвонил свое.

Денис поднял голову. Он смотрел на этого старика, который был последним щитом между ним и окончательным забвением его собственного детства, его корней. И он понимал, что должен сказать. Сказать то, что копилось все эти годы под слоями карьерных достижений, ипотечных договоров и дорогого виски.

– Я не для того, чтобы что-то закрыть, – сказал он медленно, подбирая слова, как тяжёлые камни. – Я приехал... потому что мне некуда больше возвращаться. Нигде. Ни в одной квартире, ни в одном офисе нет такого угла, где бы я чувствовал... что это моё. По-настоящему моё. А здесь... здесь оно было. И я его продал. И ты прав. Я – предатель.

Он выдохнул. Признание, вырвавшееся наружу, обожгло, но и освободило.

– И я не прошу прощения. Я знаю, его не будет. Я просто... я хочу побыть здесь. Пока... пока ещё можно. Пока ты ещё здесь.

Ерофей слушал его, не двигаясь. Его лицо оставалось каменным. Но что-то в его взгляде, в напряжении плеч, изменилось. Будто каменная скорлупа дала тончайшую трещину.

Он не сказал «оставайся». Он не сказал «прощаю». Он молчал. Долго. Потом повернулся лицом к печи, к холодной, чёрной пасти топки.

– Дров на крыльце есть чуть, – произнёс он глухо. – Принеси. И снег с крыши сбрось завтра, а то прогнёт. Не нанимал я тебя, сам справлюсь, коли что.

Это не было приглашением. Это было испытанием. Поручением. Первым за двадцать лет.

Денис кивнул, молча встал. Он положил старую фотографию в карман, аккуратно, будто это была хрупкая икона. Потом надел пальто и вышел в сени, навстречу набирающему силу ветру и первой, колкой снежной крупе.

Он шёл к поленнице, и снег бил ему в лицо, таял на щеках, смешиваясь с чем-то солёным и горячим, что текло из глаз.

Он не знал, что будет дальше. Но он знал, что сейчас ему нужно принести дров. И сбросить снег с крыши, но это уже завтра.

Это было мало. Это было ничто. Но для него, впервые за долгие годы, это было – дело. Его дело. Здесь. Действительно важное дело.

Часть II: Корни



Глава7: Мать и сын

Топор врезался в полено с глухим, влажным звуком «чвяк!», и две половинки упали на заснеженную землю. Денис выпрямился, переводя дух. Ладони, не привыкшие к такой работе, горели. Он привык к другому – к щелчку компьютерной мыши, к весу дорогой ручки, подписывающей документы. Здесь же всё было грубее, примитивнее, и оттого, возможно, честнее. Каждый удар топора – это тепло, которое согреет дом. Прямая причинно-следственная связь.

Он собрал охапку расколотых полешек и понёс их на крыльцо, аккуратно укладывая у стены. Работа была механической, и это позволило мыслям уйти вглубь, туда, откуда доносились другие голоса, другой запах – не дыма и хвои, а дешёвого одеколona, перегара и вечного запаха тушеной капусты из общей кухни в коммуналке.

Мать, Люда, никогда не любила Усть-Тайменку. Она была городской, из райцентра, и вышла за его отца, лесоруба, то ли от безысходности, то ли от большой, неразумной любви. Большая любовь быстро кончилась вместе с мужем под сосной. А безысходность осталась. И с каждым годом она

грызла её изнутри, как таежные реки точат камни на пенных порогах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.